

---

---

Александр ЖДАНОВ

# ВСАДНИК, ИМЕЮЩИЙ МЕРУ

## Повесть

### 1

Евдокимов спешил. А тут эта старая цыганка подняла на него, торопливо проходившего мимо, взгляд и сказала:

— Не надо тебе ходить за мост.

Сказала спокойно, словно продолжала прерванный разговор. А сказав, откинулась на спинку скамейки, закурила. Евдокимов опешил.

Ему бы пройти мимо, будто и не произошло ничего, а он остановился и промямлил:

— Да не собираюсь я. У меня и визы-то нет.

И тут же сжался внутренне, решив, что цыганка сейчас ухватится за эту его якобы готовность к общению, разговорит и, чего доброго, облапошит.

Цыганка сидела на скамейке спиной к библиотеке и лицом к тому самому мосту через Неман. Здесь, на берегу, обрывался теперь российский город, который благодаря встрече двух императоров в 1807 году попал в историю, а на противоположном берегу сразу начинался литовский поселок. Мост связал два государства. Потому-то и сказал Евдокимов о визе. А цыганка кивнула одобрительно:

— Вот и хорошо. И не спеши.

Затянулась и прикрыла глаза.

А Евдокимов все же спешил: шел с покупкой — с чернилами.

С недавнего времени Евдокимов отказался от шариковых ручек и стал писать чернилами. Как когда-то в школе. К этому он решил вернуться, когда однажды, копаясь в глубинах своего стола, обнаружил старую авторучку с золотым пером. Авторучку он промыл теплой водой, аккуратно протер и побежал по канцелярским магазинам за чернилами. В магазинах чернил не было. Некоторые молоденькие продавщицы даже понять не могли, о чем речь. А он с досадой вынимал ручку из кармана, снимал колпачок, раскручивал, показывал, объяснял. Продавщицы виновато улыбались и пожимали плечами. Нашлись чернила лишь в двух магазинчиках на окраине города — по бутылочке в каждом. Он купил обе. Чернила оказались старыми и потому бледными.

Евдокимов спешил на чердак, в мансарду — к себе в каморку. Втайне от семьи снимал он эту комнатку в глубине старой части города. Комнатка под черепичной крышей

---

Александр Борисович Жданов — поэт, прозаик, художник, искусствовед. Член Союза российских писателей и Творческого союза художников России. Родился в 1956 году в Баку. В 1982 году окончил филологический факультет МГУ. Работал преподавателем в школах — сначала в Литве, потом снова в Баку. В 1989 году переехал в Калининградскую область. Публиковался в журналах «Запад России», «Балтика», «Литературный Азербайджан», «Нева», «Берега», в интернет-журналах «Твоя глава», «Бюро Постышева», в альманахах «Российский колокол», «Литера К», «Эхо». Автор трех сборников стихов, трех книг прозы, альбома живописи и графики и трех учебных пособий по истории изобразительного искусства.

вызывала одновременно радостное беспокойство и умиротворение. Он скрывался здесь от родных, потому что сочинял. Дома ему все мешали, дома подтрунивали над его внезапно проснувшейся страстью. А он написал несколько рассказов, разместил их в социальных сетях — пришли одобрительные отзывы. Тогда решился на книжку, на электронное издание. Книжка появилась в интернет-магазинах, и вновь приходили доброжелательные, хоть и редкие отзывы, но дохода книжка не приносила. Вот и посмеивались домашние. Он же замахнулся на повесть, и ему нужно было полное уединение.

Комнатка досталась ему, если разобраться, чудная. С двумя окнами: одно в торцовой стене, а другое — мансардное, в самом скате крыши. Под этим окном прежние еще хозяева квартиры соорудили что-то вроде невысокого подиума или балкончика с оградкой. На балкончике он уместил письменный стол, а на него водрузил лампу — тяжелую, мраморную, с орлом у подножия. Хозяева ее оставили, а тем, видно, тоже перешла с давних довоенных лет. Только абажура не было — торчала одна лампочка. Тогда он ринулся на барахолку и отыскивал ведь похожую лампу! Правда, металлическую, грубо покрашенную под бронзу. Но на ней был стеклянный зеленый абажур. Он-то и переключал на ту самую мраморную. Впрочем, лампа была не единственным старым предметом в комнате. Евдокимову очень нравилась этажерка — ротанговая, с изогнутыми ножками. В детстве Евдокимов видел похожую у бабушки, когда приезжал к ней на каникулы. Этажерке Евдокимов был рад особенно и сразу уставил ее книгами. Зеленая лампа и этажерка вызывали литературные и исторические размышления. Однако писать получалось не всегда.

Не писалось и сейчас. С досады Евдокимов во всех своих бедах винил цыганку. Мол, не может он после ее предостережения ни о чем другом думать. Наконец после раздумий написал: «Однобокая, как гнутый пятак, луна выплыла из-за кирхи, боком стоявшей к проспекту». И тут же, усмехнувшись, зачеркнул строку. «Гнутый пятак» — где они сейчас, такие крупные пятки? Мелочь одна во всех смыслах. А ведь еще лет тридцать назад получился бы неплохой, зримый образ. Много изменилось в жизни. Вот и Неман стал границей. Права старая цыганка: нечего туда ходить. Евдокимов чуть ли не физически ощущал преграду, словно отсекала река его, арестовывала.

Писать не получалось, мысли скакали где-то далеко. Дальше фразы об однобокой луне дело не шло. Он чертил на бумаге стрелки и черточки, а потом вывел первое, что пришло в голову: «Sator Arepo tenet opera rotas». Палиндром, который помнил со студенческих лет. Перечитал его несколько раз слева направо и справа налево. Потом записал фразу иначе — каждое слово с новой строки:

SATOR  
AREPO  
TENET  
OPERA  
ROTAS

Теперь фраза читалась одинаково не только в двух направлениях, но и сверху вниз и снизу вверх. А потом подумал и расчертил по линейке часть листа на квадратики и записал фразу вот так:

S	A	T	O	R
A	R	E	P	O
T	E	N	E	T
O	P	E	R	A
R	O	T	A	S

Подумал, что в средние века в квадратном этом палиндроме наверняка усматривали что-то мистическое, возможно, и ужас он вселял в людей. А какой-нибудь черно-книжник мог, наверное, включать его в свои заклинания. Хотя смысл его был безобидным: «Сеятель Арепо сдерживает свою повозку (колесо)». «Сдерживает свою повозку...» То есть сдерживает от работы, не дает разойтись. Ему тоже нередко приходилось сдерживать слова, когда они торопливо толпились, наталкивались одно на другое. Тогда надо было властно остановить их бег, заставить каждое слово встать на свое место. И это было самым увлекательным в его работе. Но сейчас бега не было. Он снова обратился к начерченному на листе квадрату, снова перечитал фразу по всем направлениям, пририсовал к каждому маленькому квадратику по периметру дуги — работа не двигалась.

За узким окошком становилось все темнее. Он включил лампу. Свет падал на лист бумаги на столе, где орел отбрасывал зловещую тень. Падал свет и на пол, образуя светлый полукруг. Он то и дело бросал туда взгляд. На улице совсем стемнело, от внезапно сгустившегося тумана ночь казалась серой. Вместе с туманом спускалась головная боль.

Что-то еще, помимо головной боли, мешало ему сосредоточиться, словно смотрел кто на него со стороны. Несколько раз он оборачивался, взглядывал через плечо, но ничего не находил. Тогда он решил подсветить, передвинул лампу к краю стола и заметил то, на что до сих пор не обращал внимания: из стены слегка выдавался уголок кирпича. Штукатурка в этом месте недавно обвалилась, обнажилась кладка, и сейчас один кирпич явно выпирал.

Он подошел к стене, провел пальцами по кирпичам — выступ и впрямь выпирал. Евдокимов вернулся к столу, взял разрезальный ножик (любил он изящные старинные, в наше время совсем ненужные вещицы!), затем рукояткой ножа постучал по кирпичу — стена за ним отозвалась гулкой пустотой. «Это что же — тайник?» — подумал он и хотел уже попытаться выковырять этот кирпич, заглянуть внутрь, но в это время звякнул дверной колокольчик, потом еще раз. И еще. Гостей он не ждал, открывать никому не хотелось, но он обернулся к двери, подумав одновременно, что никакого висячего колокольчика у него нет и откуда быть звону. И тут увидел стоявшего в дверях человека в плаще.

— У вас не заперто. Я пытался позвонить, но электрический звонок, похоже, не работает. Я и вошел.

В руках у ночного посетителя был холщовый пакет, в котором позвякивали бутылки. Евдокимов так и стоял спиной к тайнику в стене. Стоял и молчал. А гость продолжал:

— Туман сгущается невероятно, в трех шагах ничего не видно. Вы позволите мне переждать у вас недолго?

Не дожидаясь ответа, гость снял плащ, стряхнул успешную осесть на него влагу, повесил на стоящую в углу вешалку и, припадая на одну ногу, прошел в комнатку, где продолжал:

— Прескверная погода. Авто гудят, шоферы ничего не видят.

Не сразу осознал Евдокимов, что гость его говорит странно, старомодно — так говорили лет сто назад. И он сам, перенимая против своей воли манеру гостя, пробормотал:

— Не извольте беспокоиться, проходите, располагайтесь.

Но гость уже сам уселся на диванчике, выставив вперед ногу. Потом тяжело встал, подошел к столу и нежно, как старого знакомого, погладил мраморного орла. Эта бесцеремонность злила Евдокимова, захотелось выставить гостя, но он сказал лишь:

— Вы так себя ведете, будто хорошо все знаете здесь.

— Так это моя каморка. Я снимал ее. Вот и лампа та же, и этажерка. Только кресла не вижу. Здесь я рассказ писал, прятал рукопись в тайнике. Виноват — не представился: поручик двести семидесятого пехотного Гатчинского полка Иван Николаевич Поляков.

2

Подходя к драгунским казармам на Банхофштрассе, поручик Поляков с раздражением посмотрел на две низкорослые колонны у входа. Их венчали нелепые капители, которые и вызывали раздражение: выбивались они из общего строгого с претензией на готику стиля здания — внушительного сооружения из красного кирпича с восемью мишуклями на фасаде под крышей. Прежде здесь располагался немецкий Драгунский принца Альбрехта Прусского полк, теперь вот разместились русские.

Поручик ловко взбежал по лестнице, намереваясь быстро прошмыгнуть в комнату, которую он занимал вдвоем с молчуном поручиком Игнатовым. Но тут его окликнули:

— Никак, Поляков, опять у своей немочки были? И, наверное, опять наперебой стихи читали! Кого на этот раз — Новалиса? Шиллера? Давайте-ка лучше на бильярде сыграем!

— С вами, Иноземцев, играть невозможно: либо кий сломаете, либо снова сукно прорвете, — сдерживая досаду, сказал Поляков.

И был прав: штабс-капитан Иноземцев бильярд любил страстно, но страстность эта мешала. Из-за нее он не мог в достаточной мере достичь мастерства, горячился, терял контроль над игрой. Накануне он так увлекся, что сильно ковырнул кием и пропорол сукно на столе. Как новичок. Поляков хотел было пройти мимо, но Иноземцев не отставал:

— А как вы разговариваете с вашей немочкой? По-немецки? Откуда у вас такое хорошее знание языка?

— Ни для кого не секрет, что бабка моя по материнской линии — немка. Анна Ивановна, урожденная фон Ключе. Да и в гимназии были хорошие учителя, — Поляков говорил подчеркнуто сухо и серьезно, не принимая фривольный тон Иноземцева. Он коротко поклонился и сказал:

— С вашего позволения, господин штабс-капитан, я пойду. Мне надо отдохнуть. Сегодня заступаю в караул.

В караул Поляков не заступал, но надо было как-то избавиться от штабс-капитана. В комнате поручик лег на койку, не снимая сапог, свесив ноги. Он заложил руки за голову и подумал, что Иноземцев прав: его частые отлучки становятся заметными, и всем ясно, что он проводит время не в кафе, как другие офицеры, а в обществе Марты Вагнер, дочери доктора местного госпиталя. Как ни крути, а враги...

Обычно они с Мартой виделись в кирхе. В ней — единственной в городе — мог отпирать службу для русских солдат и офицеров их полковой священник, хотя прихожанами кирхи были немцы и живущие в Тильзите литовцы-лютеране. Кирха и до этого удивляла Полякова необычной полукруглой формой, но недавно удивили и слова Марты:

— А вы знаете, что это русская императрица дала деньги, и строительство смогли быстро завершить?

Три дня, всего три дня был знаком поручик с этой немецкой девушкой, а казалось, что они знают друг друга вечность. И это чувствовал не только Поляков. Марте тоже было легко с этим учтивым русским. Но сегодня — ошибался штабс-капитан — они не виделись, сегодня переплелось слишком много других событий

Еще накануне поручик стоял у моста через Неман. Немцы называли реку Мемелем, и название это не нравилось Полякову: было в нем что-то невнятное, мямлящее. Зато мост с уходящими на другой берег полукруглыми фермами и изящной аркой радовал. И картуш с профилем королевы Луизы, чье имя носил мост, тоже нравился. Как-никак королева — бабка блаженной памяти русского императора. Стало быть, с родственниками воюем, горько подумал поручик, вспомнив о троюродном брате Иоганне,

сыне дяди Ульриха, который жил в Кёнигсберге. Наверняка Иоганн сейчас тоже воюет — с другой стороны.

На площади Поляков с интересом рассматривал выросшую на берегу кирху, ее лежащую на восьми шарах и уходящую в небо башню. Барочный купол башни перекликался с башенками арки моста, и уходила вдаль перекличка, в перспективу улицы. Там дальше был шпиль городской ратуши, а еще дальше — крест Реформатской кирхи. Изломанная линия прочерчивалась по воздуху.

«Философы эти немцы, — думал Поляков. — Вот стоит эта Реформатская кирха у кладбища, рядом, на спуске к реке — бойня, а напротив кирхи и кладбища — театр. То, что рядом кладбище и бойня, не удивляет: когда-то здесь была окраина, проходила граница города, но поставить напротив театр?! Философы».

От шпиля ратуши шла и другая воздушная линия, к другому шпилю — той самой литовской церкви, где они встретились с Мартой.

— Знаете, что и ратушу, и церковь проектировал один зодчий — Карл Людвиг Бергиус? — говорила Марта. Она была девушкой любознательной и начитанной.

Три дня были знакомы они с Мартой. Да и в Тильзит русские вошли совсем недавно. Вошли спокойно и бескровно. Утром на улицах города показался конный патруль русских. А потом разъезд из пятидесяти всадников увидел немецкий офицер и поспешил к дому обер-бургомистра Поля. Полю доложили — и он появился в дверях очень быстро, успев вызвать через телефон бургомистра Роде. Градоначальники поспешили на встречу вошедшему отряду. Так и стояли оба, пешие, пред русскими конными. Уставленные вверх пики всадников покачивались в такт переступавшим лошадям. Пауза затянулась.

Наконец старший из них спешил, подошел к Полю и представился:

— Поручик Кавалергардского императрицы Марии Федоровны полка флигель-адъютант князь Константин Багратион-Мухранский.

Князь был строен, подтянут, кровь предков в нем выдавали лишь крупные глаза и слегка изогнутый нос. Поручик говорил по-французски, немецкий градоначальник чуть замешкался, но тут из небольшой толпы горожан, уже собравшейся к этому времени, вышла дама и сказала, что может взять на себя роль переводчицы. И князь, и Поль одновременно, как по команде, повернулись к ней и благодарно поклонились. Впрочем, речь командира разъезда была краткой. Он объявил, что русские войска разместятся в городе, и потребовал обеспечить их продовольствием и фуражом. Потом, несколько смущаясь, попросил сто плиток шоколада и даже протянул обер-бургомистру сто марок. Поль еле заметно улыбнулся, денег не взял и распорядился, чтобы шоколад предоставили.

В тот же день генерал Ренненкамф доносил в штаб фронта: «25 августа вечером в Тильзит вошла пограничная стража, мосты целы, захвачены телеграфные, телефонные аппараты, корреспонденция. Приказал пограничникам охранять мосты до прихода полка пятьдесят третьей дивизии».

Оккупационные власти позволили сельскому населению въезжать в Тильзит и выезжать из него, а в самом городе работали рестораны, кафе, торговали в магазинах и на базаре. Был несколько смягчен первоначально жесткий запрет на передвижение горожан по реке. С улыбкой смотрел Поляков, как деловито спешили на уроки немецкие ребятишки: учебный год начался, и школы были открыты.

### 3

До войны еще успел прочитать Иван Николаевич в «Сирине»: «Петербургские улицы обладают одним несомненным свойством: превращают в тени прохожих». Это были главы романа — и роман тогда затянул. Особенно поразили Полякова «моз-

говая игра» и человек в красном домино на ночных улицах. «Мозговая игра, мозговая игра», — все твердил он вполголоса и представлял: человек в красном домино и черной маске подходит к нему, берет под руку — и они превращаются в тень.

Но в Тильзите улицы прохожих в тень не превращали, в Тильзите плавно расплылась мягкая осень. Да и осенью трудно назвать эту пору. Все еще зеленая листва лишь кое-где, сбоку тронута подступавшей желтизной, ровный юго-западный ветер нес тепло. И только каштаны, верные времени, выпадали из своих колючих шкатулок и глухо стучались о булыжник мостовых и тротуаров. Их коричневые, словно полированные, спинки вызывали детский восторг.

Он шел, задумавшись, по улице и вдруг вздрогнул от такого знакомого звончка — проходящий мимо трамвай живо напомнил поручику Петербург. Совсем по-русски, забыв всю свою сдержанность, он вскочил на подножку и поехал. Трамвай довез его до Энгельсберга — восточной окраины города на высоком берегу Мемеля. Поляков с интересом разглядывал водонапорную башню, противоположный пологий берег с уходящими вдаль полями. А потом трамвай пошел назад. Это был один из самых протяженных маршрутов. Поручик оказался на другой окраине — лесном кладбище Вальдфридхофф. Он побродил между невысокими строгими памятниками, щебетали птицы, и угрожающе вились вокруг комары.

Поляков почувствовал на себе пристальный взгляд и оглянулся. На него, не мигая, смотрела старуха: из-под темно-бордового плаща с капюшоном выдавалось черное платье и белый, уже заношенный и даже грязный чепец. «Вот тебе и красное домино», — подумал неожиданно Поляков. Старуха опиралась на кривую суковатую палку, другой рукой подзывала к себе Полякова. Он подошел. Старуха, указывая пальцем на низенький серый памятник, проскрипела:

— Молодой был. Плохо, когда молодые умирают. Трудно переплыть реку. Ты еще узнаешь. Приходи в следующий раз.

И ушла, теряясь за деревьями.

А в Полякове что-то шевельнулось. От красного домино мысли метнулись к «мозговой игре», оттуда к прочитанным в «Сирине» главам романа. Какая-то игра явно зарождалась в его, Полякова, мозгу, но какая — он пока понять не мог, только смутное, не сформировавшееся еще желание беспокоило его. Поручик вернулся в город, сошел у здания суда.

К казармам надо было идти направо, и Поляков уже было свернул, но тут же круто развернулся. Успел даже улыбнуться тому, как сработала военная привычка: и здесь, вне строя, он развернулся через левое плечо. Поляков пошел по центральной Хоештрасе к знакомому ресторанчику.

В ресторанчик Поляков вошел как завсегдатай: он успел полюбить уютный зал, вежливых кельнеров, прекрасное пиво. И служителям нравился этот хорошо воспитанный русский с безукоризненным немецким. Особенно расположил он к себе после недавнего случая.

Тогда Поляков сидел за столиком. От раздумий его оторвали шум и слишком громкая русская речь. Поляков поднял голову и увидел, как у стойки русский унтер-офицер наседали на опешившего кельнера, грозя ему кулаком и что-то крича. По обрывкам фраз Поляков понял, что унтер отказывался платить и вдобавок требовал шнапса. Резко встав из-за стола, Поляков подошел к буяну, сильно сдавил ему запястье и жестко проговорил:

— Потрудитесь прекратить этот балаган, унтер. И немедленно выйдите вон. Водки вам не дадут. Или вы запомнили распоряжение коменданта?!

В глазах некоторых сослуживцев Поляков выглядел странным. Когда надо было отчитать кого-то, он становился подчеркнуто вежливым и официальным, не «тыкал», даже нижним чином. Иные офицеры считали это интеллигентским слюнтяйством, но

на солдат холодная вежливость поручика действовала сильнее зуботычин. Эта холодная вежливость делала дистанцию между ними более ощутимой, и никому не приходило в голову перечить поручику. Вот и унтер попятился, приговаривая:

— Да я разве што, ваше благородие... Никак нет... Я мигом, — и выскочил из ресторана.

А потом Поляков обратился к кельнеру:

— Этот солдат что-то должен вам?

— Да, господин офицер. Две марки и тридцать пфеннигов.

Поляков вынул деньги.

— Русскими деньгами возьмете? — спросил он, протягивая рубль. — Кажется, по установленному курсу все верно?

Кельнер благодарно закивал головой:

— Это больше, чем надо.

— Возьмите. И не судите солдата строго.

А потом, когда Поляков, вернувшись за столик, продолжил трапезу, кельнер подошел и, учтиво склонившись, сказал:

— Хозяин благодарит господина офицера и говорит, что господин офицер всегда может рассчитывать на кредит в нашем заведении.

— Передайте хозяину, что я тронут его заботой, но этого не понадобится.

И добавил почему-то по-русски:

— Честь имею.

И теперь в ресторанчик Поляков входил, надеясь, что никаких подобных встреч не будет. Обычно здесь бывало тихо и немногочленно, но сейчас — заметил Поляков — пустовало только одно место за столиком, где уже сидел какой-то пруссак. Полякову показалась немного смешной его фигура в сером костюме, смешным показались и монокль, и усы незнакомца: они были расчесаны в обе стороны почти параллельно земле. «Ну, пруссак — ни дать ни взять», — отметил про себя Поляков.

— У вас не занято? Вы позволите? — обратился к нему Поляков.

Незнакомец кивнул, но тут же напрягся и, опустив голову ниже, исподлобья посмотрел на садившегося Полякова. Поляков заметил это движение и тоже взгляделся в незнакомца.

— Иоганн? Ты ли? Вот так встреча! — воскликнул Поляков почему-то шепотом. — Какими судьбами?

Незнакомец отвечал тоже тихо, стараясь не привлекать к себе внимания.

— Здравствуй, Иван. Могу задать тот же вопрос тебе: какими судьбами ты? Я-то почти дома, приехал из Кёнигсберга к своей невесте. А вот ты почему так далеко от Петербурга?

Это был Иоганн фон Клюге, его троюродный брат. Они родились с разницей в три дня, и их обоих называли в честь прадеда. Иоганн был как натянутая струна. Поляков попытался смягчить напряжение:

— Полно, Иоганн, полно — будет тебе. Ты же прекрасно все понимаешь. Лучше скажи, как живешь. Служишь? Как дядя Ульрих?

На все вопросы Иоганн лишь коротко ответил:

— Папа здоров.

Они недолго просидели за столиком, говорили мало и тихо, незаметно для других. Из кафе они вышли почти одновременно, но по улице пошли так, что никто не подумал бы, что они знакомы. Однако потом, не сговариваясь, оба свернули налево, на площадь, и остановились у памятника. Подняв руку вверх, на здание городской ратуши смотрел поэт Макс фон Шенкендорф. На площади не было никого, и можно было говорить спокойно. Обойдя памятник кругом, Иоганн поднял голову и сказал:

— Вот он, он понимал немцев и Германию. Он прав: Германия превыше всего. Он понимал наш дух и сто лет назад, когда лягушатники тоже грозили нам. А что сейчас? Мы гордились, что живем в мире? Но тридцать лет мира размягчили армию, размягчили немецкий дух. Живем в мире... А есть ли этот мир? Бог умер! Культура умерла!

Иоганн явно был увлечен новыми идеями, повторял не им сказанные громкие фразы, и Поляков старался не ввязываться в опасную дискуссию. Впрочем, он отчасти поверил Иоганну. Поверил, что тот приехал к невесте. Но подозревал, что невеста — лишь повод, лишь один из пунктов пребывания Иоганна в занятом русскими Тильзите. Поручик не мог не заметить военной выправки родственника, догадывался, что появился Иоганн в городе не без ведома своих командиров, а может, и с разведывательной целью. Вскоре они расстались.

«Надо донести, — стучало в голове Полякова, пока он шел к казарме. — Иоганн несомненно шпион». За такими размышлениями Поляков не заметил, как оказался у здания, которое было хорошо известно всем офицерам: здесь располагалась контрразведка. «Надо же: ноги сами привели. Надо зайти и донести. Надо донести», — подумал Поляков. И прошел мимо.

Он уже повернул было на улицу к казарме, как увидел краем глаза болтавшийся на стене полуоторванный плакат — за столом сидят Николай Второй и Пуанкаре, французский президент, а за ними огромная фигура Вильгельма со словами: «Я все знаю». Вспомнил, что похожую карикатуру видел в юмористическом журнале, большое количество которых было разбросано в казарме, когда они туда вошли. В сердцах Поляков сорвал плакат, скомкал его, огляделся, куда бы выбросить. Не найдя урны, с ожесточением швырнул на мостовую и пошел быстрым шагом.

Возможно, всеми этими событиями, а не только нелепыми колоннами у входа в казарму была вызвана его раздражительность. Он надеялся, что отлежится в уединении, мысли и чувства придут в порядок. Но встреча с Иноземцевым снова вывела его из равновесия.

В казарме, лежа на койке, Поляков думал о кирхе, о нелепой старухе, о встрече с Иоганном, о том, что с Мартой увидится не скоро, да и увидится ли вообще. По немногим, только военным людям понятным деталям поручик догадывался, что вскоре предстоит нечто серьезное.

Он резко поднялся и, усевшись на койке, принялся чистить свой револьвер. Услышав за спиной шумное сопение, обернулся. Там стоял Игнатов и говорил, будто гудел:

— К боям готовитесь, Иван Николаевич? Неужто скоро? Ох, и я чувю: неладное что-то затевается.

— А, это вы, Игнатов.

Вдруг, вспомнив, что сегодня 30 августа (в Пруссии стоял сентябрь, но для Полякова, верного календарю российскому, еще был август), он добавил:

— Виноват, с утра не пришлось вас поздравить: с днем ангела, Александр Петрович.

Высокий и грузный Игнатов заулыбался по-детски:

— Благодарю, поручик. Смешно, наверное, но меня матушка, Ольга Ксаверьевна, всегда так поздравляла. Войдет в комнату, склонится ко мне, только проснувшемуся, поцелует в лоб и скажет: «С днем ангела, Александр Петрович». Мне лет шесть, а она — «Александр Петрович». Говорит серьезно, а глаза смеются... Я ее во сне нынче видел. Все ладанку мне протягивала, просила надеть. Она и при расставании мне ее давала, да я взять отказался. Сентиментальным показалось, а сейчас вот жалею. Глупо, да?

Помолчав немного, Поляков ответил:

— Горше всего мы обижаем тех, кто нас сильнее всего любит.

Игнатов потоптался, потом, тяжело вздохнув, сказал:

— Тоже, что ли, оружие почистить?



Игнатов слыл аккуратистом. Прежде чем приступить к делу, он извлек из своей офицерской сумки чистую тряпицу, разложил ее на койке. Разбирая свой парабеллум, он в строгом порядке раскладывал на тряпице узлы и детали, аккуратно протирал каждую.

— Поляков, а почему вы все еще наганом пользуетесь? — спросил он вдруг.

— Почему? Да хороший ведь револьвер, не отказывал до сих пор.

— Хороший-то хороший, а как быть в ближнем бою? Что если расстреляете весь барабан? Как перезарядите? Нет уж, лучше я со своим парабеллумом.

— Не станемте загадывать, Александр Петрович. Пусть уж как Бог положит.

В глубине души Поляков соглашался с Игнатовым: в условиях, о которых он говорил, пистолет был бы надежнее, но... Поляков был невысок ростом, и револьвер, уместяющийся в компактную кобуру, его вполне устраивал. А громоздкая, становящаяся при случае прикладом деревянная кобура парабеллума, не говоря уж о маузере, свисала бы ниже колена. Мальчишечье самолюбие Полякова не могло смириться с этим.

В эту ночь Полякову не спалось. Как это случилось?! Почему столь удачно начавшееся их наступление захлебнулось? Поляков и позже думал над этим — и не мог найти объяснения. Но и сейчас бессонной ночью понимал, что остановка — это сбой темпа, чреватый тяжелыми последствиями.

И они последовали. На следующий день на площадь, где Поляков несколькими днями раньше рассматривал шпиль кирпичи, ворвались немецкие отряды. Это было столь внезапно, что русские и опомниться не смогли. На площади завязался бой. Четверка запряженных цугом лошадей тащила орудие. Маневренная в поле, здесь, на площади города, она оказалась неуклюжей. В суматохе лошади замешкались, задняя двойка запуталась в упряжи, верховые отчаянно хлестали лошадей, но замешательство лишь усиливалось. Все попытки прислуги развернуть лошадей с тем, чтобы и пушку развернуть против противника, ни к чему не привели. Не сразу заметили, как прямо на них на черном коне несется немецкий офицер в каске с шишаком. Двумя выстрелами из пистолета офицер уложил возничего и командира орудия. Пушка встала. Надо было отходить.

Полк отошел по Штольбеккерштрассе и, отрезанный от основных сил, окопался на кладбище Вальдфридхофф. Поляков вновь подумал о старухе в плаще — и дух смерти словно повис над ними.

Бой длился четыре часа. Поляков видел, как погиб Игнатов. Замешкавшись из-за чего-то, он выстрелил от живота, и выброшенная гильза — коварная сущность парабеллума — угодила ему в лицо, в глаз. От внезапной боли Игнатов согнулся, схватился рукой за ушибленное место — немецкий палаш опустился ему на голову. Погиб и Иноземцев. Раненный в ногу Поляков попал в плен.

Их было много — пленных. Всех вели с городской окраины мимо озера, мимо мельницы, мимо бумажной фабрики. Ее едкие выбросы с непривычки резали глотку.

Рядом с фабрикой — мост через Неман. Лежат на нем рельсы, поблескивают, уходят вдаль — на Хайдекруг, Мемель. Манят рельсы. От Мемеля морем недалеко совсем до русского берега. Да и по суше недалеко: переправиться через реку и двигаться на восток, на Ковно. А там и Россия. Оттуда, с того берега может еще прийти подмога, а они здесь за рекой, как отрезанные. Блестят, манят рельсы.

Нет, верно, не судьба! Свернули направо — и вот она, красная стена драгунских казарм. Пока не самих казарм — конюшни.

Поручик шел, сильно хромая и тяжело опираясь на толстый сук, подобранный на лесном кладбище. Пленных привели в те же драгунские казармы. На плацу остановились, немецкий офицер пересчитал всех и приказал фельдфебелю вести их дальше. Поляков надеялся, что сейчас их проведут в помещение, и тогда можно будет лечь и вытянуть ногу. Но фельдфебель повернул строй направо и повел дальше, вглубь, к конюшням. Там в конюшнях их и заперли...

Поляков с трудом опустился на каменный пол, откинулся спиной на загородку стойла. Это помогло немного снять напряжение, и боль в ноге слегка ослабла. От каменного пола шел холод, высасывая из тела остатки тепла, резко пахло лошаадьми, но все же это была небольшая возможность отдохнуть после долгого перехода. Поляков почувствовал, как его одолевает дремота.

— Пожалте сюда, ваше благородие. Я и постельку приготовил, — услышал Поляков и узнал по голосу солдата своего взвода Антипа Копылова. Тот колдовал в углу, укладывая удобнее сено. Тяжело поднявшись, Поляков доковылял и снова устало опустился на пол. Антип помог поручику улечься, снял с него сапоги, подложил их под голову поручику. Поглядел на ногу поручика в окровавленной штанине, сказал сокрушенно:

— Вот беда. Гляди, утром не натянуть будет, как ногу вздует. И неужто дохтур еще не глядел? Беда, беда... Вы, ваше благородие, погодьте, я мигом — присмотрел тут одну вещичу.

Копылов исчез и вскоре вернулся, неся что-то под мышкой и прикрывая это от посторонних глаз снятой гимнастеркой. Он опустился перед лежащим Поляковым и зашептал:

— Вот седло раздобыл. Старое оно, порченное, для дела негодно, а нам в самый раз.

Он бережно положил на то, что когда-то было седлом, раненую ногу поручика и укрыл его шинелью.

— Спасибо, Копылов. Может, ты где моего денщика видел, Куприянова?

— Как не видать?! Убило Митрия. Вы бы уснули, ваше благородие. А завтра, глядишь, дохтура приведут.

— А как же ты сам?

— Да нешто здесь сена мало! Улягусь как-нибудь. Ну, почивайте, ваше благородие.

Последние слова солдата поручик слышал уже сквозь наваливавшийся сон. Перед ним, как в тумане, проплывали кирпичные крестовые своды конюшни, лицо Марты, покачивался силуэт полукруглой кирхи, и куда-то спешил человек в нахлобученной на парик треуголке.

#### 4

Плохо был сделан парик, неудобно сидел и набок все время съезжал. Правда, сейчас треуголка парик прижимала. Но и ее приходилось придерживать рукой: назойливый ветер проникал всюду, поднимал полы плаща, который капельдинер Коробкин пытался стянуть на груди другой, свободной рукой. Но и это было непросто: под плащом под мышкой Иван Евсеевич держал портфельчик с нотами. Спешил капельдинер.

Уже несколько лет квартировали русские в Тильзите. Коробкин обжился, завел знакомства, и сейчас он спешил к своему прусскому приятелю — музыканту Губерту Штольцу. Удивительный он был музыкант: орган, флейта, скрипка были подвластны ему. Сам Коробкин тоже хорошо играл на гобое и трубе, но скрипка... Дома в Петербурге не случилось ему научиться, а Штольц взялся обучить и обучал. К нему-то и спешил капельдинер.

Но как ни хотел Иван Евсеевич быстрее взять в руки скрипку, не задержаться у новой кирхи он не мог. Дивную кирху строил Карл Людвиг Бергиус, не похожа она на другие — полукруглая, с шатром уходящей черепичной крышей, которая венчалась башенкой с куполом. Она была почти готова и завораживала. «Великая Петрова дщерь щедроты отчи превышает... Прав, прав Михайло Васильевич, — бормотал Коробкин. — Надо же: денег изволила прислать благодетельница — тысячу двести восемьдесят три талера. А зачем? Да чтобы кирху здесь достроить. Не иначе как о нас, о своих солдатах, печется».

Коробкин обошел кирху, посмотрел на уходящую вверх башенку. В другой раз он непременно поговорил бы с кирхой. Частенько капельмейстер, оглядываясь по

сторонам, чтобы никто не застал его врасплох, разговаривал с кирхой. Но сейчас лишь тяжело вздохнул и пошел к своему учителю музыки.

Штольц встретил его странным предложением:

— Мой молодой друг, вы не станете возражать, если сегодня мы оставим музыку? Я хочу показать вам нечто, чем любили мы развлекаться в молодости. Вот прочтите.

Он извлек из шкатулки сложенный вчетверо листок, расправил его. Коробкин увидел:

SATOR  
AREPO  
TENET  
OPERA  
ROTAS

— Вы понимаете? Во все стороны читается одинаково, словно настойчиво кто говорит нам: не надо спешить, всему на земле свое время. Не станемте и мы спешить, а лучше прогуляемся.

Ветер утих, и старый музыкант с молодым капельдинером медленно шли по улице. У новой кирхи остановились.

— Я заметил, что она вам нравится, — сказал Штольц. — Мне тоже. И скажу по секрету, я люблю беседовать с нею. Вы тоже?! Мне намекнули, что я смогу получить здесь место органиста. Но я бываю суеверным, поэтому помалкиваю. В маленьком городке, знаете ли, надо держать ухо востро.

## 5

В маленьком городке известия распространяются быстро. Наутро весь город знал о пленных русских. Пришел доктор Вагнер. Он осмотрел всех раненых, двух из них распорядился поместить в госпиталь, в том числе и Полякова. Первый раненый — молоденький прапорщик — был очень плох, доктор отводил ему не более суток и на госпитальную койку помещал лишь для того, чтобы облегчить последние страдания несчастного. А Поляков? Вряд ли доктор догадывался о знакомстве его и Марты, но русский пленный сразу расположил доктора к себе. К тому же он оказался единственным свободно владевшим немецким, и, таким образом, Поляков невольно стал переводчиком. Впрочем, и рана поручика была серьезна.

Уже в госпитале доктор присел рядом с койкой Полякова, стал его расспрашивать о самочувствии, о беспокойствах. Неожиданно для себя Поляков рассказал доктору о своей недавней встрече со странной старухой.

— Это, по всей видимости, была наша Берта, — успокоил его доктор. — В каждом городе, знаете ли, есть свои душевнобольные. Когда-то у нее утонул сын. Тело не нашли. Она ежедневно приходит на кладбище. Всякий раз к другой могиле. Она заговорила с вами?

— Да. Даже подозвала к себе.

— Видно, вы ей понравились. Она чувствует людей с честным сердцем.

— Эта Берта сказала тогда, что я еще раз окажусь там. И ведь права оказалась. Там меня и пленили.

— Я вижу, она произвела на вас сильное впечатление. Забудьте ее, не придавайте значения ее словам. И вообще не думайте о них, не возвращайтесь к ним. В противном случае вы все свое поведение будете подстраивать под ее безумную фразу. Поверьте мне: я достаточно изучал психологию и психиатрию... Впрочем, вряд ли вы последуете моему совету. Вы, русские, насколько мне известно, любите копаться в себе.

Доктор ушел. А Поляков вдруг вспомнил свои ночные видения. Вернулось и то смутное желание, которое испытал он на старом кладбище после встречи со старухой. И тогда он попросил принести бумагу и карандаш...

А на следующий день неожиданно пришла Марта. Потом пришла еще раз и дежурила, словно сестра милосердия. Но часто приходиться она не могла.

Поляков радовался каждому приходу Марты, ему было приятно слышать ее голос, чувствовать на лбу легкое случайное прикосновение ее холодных пальцев. Но он же страдал от сознания того, как нелегко даются скромной девушке эти редкие визиты, скольких усилий стоит ее внешняя непринужденность. Ведь наверняка встречала она косые взгляды горожан. Однажды Марта обмолвилась, что на дальнем кладбище («Ну да, на том самом, где был тот ужасный бой») будут хоронить погибших и, кажется, русских тоже. Поляков решил непременно побывать там. Этими соображениями и поделился с доктором. Однако доктор затею не одобрил:

— И не упрашивайте. Рана ваша серьезна, общее состояние оставляет желать лучшего. Процесс может обостриться. «Я направлю режим больных к их пользе», — завещал нам Гиппократ.

Но Поляков настаивал. Тогда доктор, который уже, кажется, сдался, привел последний аргумент:

— В чем же вы пойдете? Не собираетесь ведь вы идти в своей военной форме! Кто знает, как отреагируют на такой ваш вид горожане. Вам нужно партикулярное платье.

На это Поляков простодушно предложил:

— Так достаньте, доктор. Пожалуйста.

Это было сказано с такой детской непосредственностью и доверчивостью, что доктор, рассмеявшись, пообещал помочь.

Неполные два месяца войны изменили не только поведение, но и внешность Полякова. Прежде он, любивший изящество и утонченность во всем, хорошо одевался, с некоторым даже шиком носил сюртук, головные уборы. На нем одинаково хорошо сидели цилиндр, котелок и канотье. И даже форменная фуражка, когда он надел ее впервые, легла, будто сшита была по специальной мерке. Война изменила все. Сейчас на нем ладно сидела только военная форма, но вид поручика, одетого в чужие брюки и сюртук, вызывал улыбку. Особенно нелепо выглядел котелок, который сползал и висел на ушах.

Таким — в мешковатом сюртуке — и посадил его доктор с собой в коляску, и они поехали на кладбище.

Уже в полдень собралось здесь много народа, а к трем часам дня насчитывалось несколько тысяч человек. На возвышении стояли богато украшенные гробы. За ними на холме возвышался и нависал над толпой и покойными крематорий. В тишине до Полякова долетел передаваемый по толпе шепот: «Капеллан Коннар, капеллан Коннар».

Капеллан говорил долго. Поляков хорошо слышал. И вдруг невольно дернулся. Капеллан сказал то, чего услышать от него Поляков не рассчитывал:

— Здесь есть один гроб. Лежащий в нем не наш соотечественник. Но разве смерть не снимает все противоречия? Мы молим Бога о том, чтобы он ниспослал нам любовь, и да возлюбим мы и врагов наших. Хотелось бы эту войну направить на то, чтобы всемогущей стала любовь.

Капеллан говорил о гробе полковника Петрова, погибшего в первый же день. Его перенесли на другое место южнее главной дороги. Там уже покоились русские. Восемь других гробов еще ждали захоронения. Тела принесли к могилам в открытых гробах, что крайне удивило немцев, не знавших православных обычаев.

«Со святыми упокой... Идеже несть печаль, ни болеть, ни воздыхание...» — долетали до Полякова глухо звучащие в плотном лесном воздухе слова.

Полякову удалось протиснуться сквозь толпу ближе, и он узнал своего полкового священника.

Когда все было позади, Поляков улучил момент и подошел к священнику:

— Благословите, отец Георгий.

Осенняя Полякова крестным знаменем, священник помедлил, словно задумавшись, задержал руку над головой Полякова. А потом взгляделся в лицо и спросил:

— Вы ли, поручик? Иван Николаевич? Рад видеть вас живым. Здоровы ли?

— С Божьей помощью.

Священник покосился на отставленную ногу поручика, на мощную трость в его руках и горестно вздохнул. А Поляков продолжал:

— Как же вы так, батюшка? Почему здесь? Почему не отошли с остальными?

— Ай-ай-ай, поручик, как же вы дурно думаете обо мне. Неужто вы бросили бы своих солдат? Вот и я не могу оставить чад своих. И кто бы отпел почивших? Да по правде сказать, не с кем отходить было. Вы ведь знаете: полк погиб почти полностью.

— И как теперь? Вы тоже в плену?

— Пока я буду здесь с пленными. А там — как Бог положит. Храни вас, Господь, поручик. Ступайте, а я помолюсь еще.

Поляков отошел. Постояв немного, он медленно побрел по тропинке. Со стороны было видно, как тяжело дается ему каждый шаг, как он преодолевает боль. Тем не менее он доковылял до часовни, у которой его поджидал доктор Вагнер. Доктор посмотрел на осунувшееся, позеленевшее лицо Полякова и покачал головой:

— Напрасно вы предприняли это путешествие... И я хорош — позволил пациенту такой бездумный поступок. Давайте я вас подсажу.

Доктор помог Полякову влезть в пролетку. Усаживаясь удобнее, они оба одновременно обернулись на рокот мотора: мимо проезжал автомобиль обер-бургомистра. Полякову показалось, что они встретились взглядами.

Обер-бургомистр действительно увидел Полякова — чем-то привлек его этот непохожий на тильзитца господин в нелепо сидящем котелке. Наверное, Поль о чем-то догадывался. Но в душе он был солдат, этот обер-бургомистр, и воинский подвиг почитал превыше всего. Через месяц после похорон на открытом собрании городских представителей он заявил:

— Там, на нашем Лесном кладбище, находятся воины, павшие в бою; от вашего имени, господа, я принимаю заботы об их могилах на город.

Долгая осень опустилась на Тильзит.

## 6

Дождливой и туманной была осень первого года войны в Пруссии. Помнил ее Коробкин. Но зима была доброй. А генваря 24 дня года 1758-го по Рождестве Христовом Штольц занятия отменил. В этот день — день рождения прусского короля Фридриха Второго — он, как и другие подданные, привык не работать. Но ни он, ни Коробкин не ведали, что день этот особенный, что не работают и в Кёнигсберге, но по другой причине. В оный день много народа собралось в кирхе Королевского замка в Кёнигсберге — да все персоны важные, значительные. Слушали все Манифест Высочайший Божеею милостию государыни императрицы Елисавет Петровны. С трепетом ждали Манифеста — что еще их ждать может? А благодетельница свободу вероисповедания и торговли жаловала да умелых и умных людей служить приглашала. Отлегло от сердца. С легкою душой присягали персоны на верность. Слух быстро прошел по всей Пруссии, и весною уже и Штольц присягал.

Летом же 1760 года по Рождестве Христовом жара изнуряла. Ночи летние в Пруссии коротки и светлы. Не зажигая свечи, сидел Коробкин у окна и листы марал:

О, ты, которая к эфиру  
Взметнулась дерзкою главой,  
Елисаветину порфиру  
Не зрела ль днесь перед собой?  
Внемли: «Отныне вере русской  
Сиять вовек в твердыне прусской», —  
Велика дщерь Петра речет  
И се...  
Своею щедрою рукою  
В Тильзит далекай злато шлет.  
Преславный зодчий Бергиус...

Не удержался Коробкин, сташил-таки строку у Михайлы Васильича. Слова переставил и строку стыдливо спрятал в середину: авось не заметят. За то и досадовал на себя. И на то досадовал Коробкин, что слова нейдут, и оставлял пробелы: после вставлю. Уж перо изгрыз — не получается ода.

Коробкин спешил: полночь скоро — стемнеет; хоть и белесы ночи, а без свечи тогда не обойтись, а зажечь свечу нельзя: комары налетят, как окно отворит. А и не отворить нельзя: ночи тильзитские душны. Спешит Коробкин, ломается другое перо, нейдут слова.

На койке у дальней стены заворочался и заворчал во сне литаврщик Антропов. Приподнялся на локте:

— Что это ты, мин херц, полуночицаешь?

— Ах, душа моя, Антропов, скажу тебе за тайну: оду пишу. Скоро церкву освящать станут — как тут без оды.

— Ох, Коробкин, беда с тобой: бросаешься в разные стороны. Ты кто у нас? Трубач. Ну, гобой одолел, доброе дело. Сейчас на скрыпиче учиться взялся. А к чему? Как скрыпицу ты к маршу пристроишь?! Теперь вот и ода. Много разного.

— Так что ж с того, что много? Вон государь Петр Алексеич умел все — и корабли строить, и зубы рвать. Умел и нам велел.

— Эвона хватил! Так то государь, а то Коробкин.

Коробкин вздохнул глубоко, закусил перо и вновь склонился над одой. Антропов поспел, пробормотал:

— Ну, как знаешь. А я — спать.

Улегся, отвернулся к стене и захрапел. И храп, к удивлению самого Коробкина, помог. Храпел Антропов ямбом: короткий всхрап — длинный, короткий — длинный. Храпа Коробкин не замечал, он слышал ритм, а скоро и слова, прятавшиеся где-то, явились.

Перебелял Коробкин оду, уже с трудом различая буквы в набегавшей тьме.

\* \* \*

Мог ликовать Коробкин: оду приняли благосклонно. Да и самого Коробкина приметили. О том ему Штольц сказал, когда Коробкин пришел к нему для экзерциций. Слышал он разговор двух важных особ.

И, видно, не только приметили, но и запомнили. Год прошел, и однажды застал Коробкин Штольца в возбужденном состоянии. Старик непрестанно потирал руки и ходил по комнате взад и вперед.

— Мой молодой друг, готов сообщить вам нечто весьма важное и интересное. В день тезоименинства государыни вашей... нашей, — поправился, — императрицы обер-бургомистр прием дает. Мне позволено исполнить на нем мое новое сочинение — для гобоя с квартетом. Вы догадываетесь, кому играть на гобое? — Штольц хитро улыбнулся. — Это будет ваш дебют.

— Да смогу ли я, Губерт Карлович?! — Коробкин, хоть и говорил по-немецки, неожиданно назвал учителя на русский манер.

Штольц улыбнулся снова:

— Вот и меня русским сделали. Но мне приятно. У вас ведь большое уважение выказывается этим самым «витч», не так ли? У вас трудный язык... А сыграть вы сможете. Главное — не спешить, чуть сдерживать себя. Помните: *sator Arepo tenet opera rotas*. Время у нас до сентября еще есть.

## 7

А сентябрь пролетел незаметно. Доктору удалось добиться разрешения — и Полякова отпустили с ним. Пленных иногда забирали городские жители, чтобы те работали на них. Такое не только позволялось властями, но и поощрялось: ведь выгодно использовать рабочую силу, не очень задумываясь об ответственности.

Кем были эти пленные у новых хозяев — батраками? рабами? Кем был, например, Копылов, живший у хозяев, как позже выяснилось, неподалеку от Полякова? Раз они случайно встретились. Копылов служил у пастора, и пастор был доволен своим трудолюбивым и смысленным работником. Очень скоро понятливый Копылов усвоил несколько самых необходимых немецких фраз, что позволяло ему общаться с продавцами на рынке. И пастор стал доверять Копылову делать некоторые покупки. Копылову нравился домик, в котором пастор занимал несколько комнат. Домик почти сказочный — красиво украшенный небольшим куполом со шпилем. Сам же Копылов жил не в этом доме, а в конюшне, но таких конюшен он прежде не видел. Конюшня была из красного кирпича, сухая, отчасти даже теплая. Но сильнее всего поразила Копылова крыша.

— Это диво. У меня и изба-то соломой крыта, а тут для лошадушек — эвона глиняные черепки, — восторгался он черепицей.

Но еще больше восхищали Копылова сами лошади. Таких не было в их деревне. Копылов называл их тракенами.

Работающего и неунывающего Копылова, казалось, не угнетало его положение, но от взгляда Полякова не ускользнула глубоко сидящая тоска. «Как дома буду», — несколько раз вырывалось у него, но Полякову показалось, что солдат сам не верит в свое возвращение. И того не знал Поляков, что, купив на рынке всего необходимого, спускается Антип с рыночной площади к реке и долго смотрит на противоположный берег.

— Бывайте здоровы, ваше благородие. Свидимся ли нет? — улыбнувшись, попрощался он и пошел.

Поляков глядел ему вслед и видел удаляющуюся сутулую фигуру и бессильно свесившиеся руки прежде всегда прямого и подтянутого солдата.

Сам Поляков, считалось, работает у доктора, хотя мало кто верил, что доктор Вагнер станет заставлять своего доброго знакомого делать тяжелую работу.

И все же Поляков работал — помогал по мере возможностей своих доктору. Гимназических знаний латыни и прекрасного владения немецким хватало, чтобы вести медицинскую статистику и быть своего рода секретарем доктора.

Между тем с течением времени сводки с фронтов становились все тревожнее и противоречивее. Предпринятое было новое наступление русских войск на Тильзит осенью 1915 года так и не получило развития — и все шло без изменений. Поручик оставался военнопленным, а война велась как бы отдельно от него и от других таких же несчастных. Немецкие газеты, которые имел возможность прочитывать Поляков, не могли дать полной картины, их переполняла псевдопатриотическая трескотня. Иван Николаевич невольно сравнивал их с некоторыми русскими газетами, которые он успел прочитать в самом начале войны, и с сожалением находил в них много общего.

И получалось, что война идет сама собой, газеты пишут о чем-то другом и совсем иные вести доходят в письмах, в рассказах калек, возвращавшихся с фронтов, в слухах и в официальных извещениях. Одно известие коснулось и доктора.

Поляков не видел его уже дня три. Доктор не заглядывал к нему в комнату, не поручал ему никаких дел, больше времени проводя в клинике. Лишь однажды ненадолго заглянула Марта. Она была подавлена, по припухшим векам девушки Поляков догадался, что она плакала. Поначалу она отмалчивалась, на все расспросы Полякова лишь отрицательно качала головой, но ему все же удалось выяснить, что погиб Вальтер, ее кузен, племянник доктора. Погиб на Восточном фронте.

— Ради всего святого, не затевайте с отцом разговор об этом, — умоляла Полякова Марта. — Неизвестно, как он отреагирует. Он очень переживает: Вальтер был таким молодым — совсем мальчик. Боже милосердный, почему?! Почему все так происходит?! Эта война, которая забирает самых добрых и молодых! Вы, которого я должна была бы ненавидеть, но которого... — Марта смутилась, щеки ее легка порозовели. И она закончила почти скороговоркой: — Которого я не могу возненавидеть... Словом, с вами мне не страшно и спокойно... Мне, пожалуй, пора идти.

Марта ушла так же поспешно, как и появилась, а Поляков стоял посреди комнаты и глядел в окно. Лишь спустя некоторое время он понял, что улыбается. Непонятно чему.

Доктор же объявился на следующий день. Он вошел с самым серьезным и решительным видом и с ходу заговорил:

— Я хочу, чтобы между нами не оставалось никаких недоразумений и недомолвок. Мой племянник Вальтер убит — вы это знаете. Убит на Восточном фронте. И это вы тоже знаете. Но я хочу, чтобы вы знали и другое: никогда мое негодование не обернется на вас.

— Доктор, я не сомневаюсь в вашем благородстве и в вашей порядочности, но в таких условиях оставаться в вашем доме с моей стороны было бы верхом неприличия, — Поляков говорил, пытаясь не выдавать своего волнения. — Верните меня туда, где я должен находиться, к другим пленным.

Доктор еще больше насупился:

— Оставьте. Вы нужны мне как помощник. Да и ваша нога... Нельзя вам туда, к остальным.

— Во всяком случае, позвольте мне снять комнату где-нибудь в другом месте. Чтобы не смущать ни вас, ни фройляйн Марту.

Услышав имя дочери, доктор вскинул исподлобья взгляд на Полякова и проворчал:

— Вот еще! К чему это? Впрочем, как вам будет угодно. Я постараюсь вам помочь.

Однако после этого разговора Поляков еще три дня прожил у доктора, присматриваясь к нему. Поручик замечал, что доктор стал чаще замыкаться в себе, иногда до Полякова долетало бормотание доктора. Раз он отчетливо услышал:

— Свины! Мерзкие свиньи! Они решили, что имеют право вершить судьбы мира...

Обещание доктор выполнил — и Поляков поселился в маленькой комнатке под самой крышей. Обстановка в ней была скучная, и вскоре появилось там кресло-качалка — прекрасное ротанговое кресло. Оно удачно сочеталось с такой же ротанговой этажеркой. Кресло появилось, конечно же, благодаря Марте. И было оно кстати.

Сидеть за столом порой становилось неудобно и даже тяжело. Тогда садился Поляков в ротанговое кресло-качалку, брал на колени дощечку, бумагу. Покачиваясь в кресле, смотрел перед собой.

Невеселый липкий прибалтийский снег залеплял окно. Снежинки, распластавшись на стекле, тут же таяли и стекали грустными капельками. Снег вдалеке занимался печальным бураном. И виделся Полякову — возок.



## 8

Погонял возничего фельдъегерь, бил по спине тростью: поспевай! поспевай! Холодно в возке — треуголку пониже, чуть ли не к ушам! В плащ закутаться, нос укрыть и дышать внутрь — нет, не согреешься! А как хорошо собрались было за грогом! Грогу бы сейчас — ан нельзя: пакет преважнейший везет фельдъегерь. Не просто фельдъегерь, а с полномочиями. Так и не дали выпить, вдруг во дворец потребовали: скачи, доставь пакет. А что в пакете — не могли знать! Да только догадывался фельдъегерь Волков, знал: коль есть у стен дворцовых уши, то есть и уста. Проболтались они — тишком, шепотом, почти молчком — а проболтались: государыня императрица, благодетельница, проболев премного, о Господе почила. И аккурат в рождественскую ночь. О том и написано в депеше, в пакет упрятанной. А еще предписано, хоть и праздник новогодний, а в печали о кончине благодетельницы машкерадов не устраивать, музыку не играть, иллюминацию не учинять.

Спешил Волков — да разве поспеешь?! Как попеть, когда от Петербурга до Ревеля надо, оттуда через Ригу и Митаву, а дальше — перекресток: не пропустить его! Резко повернуть направо надо — тут следи за возницей, за лодырем и пьяницей! Следи, чтобы не пролетел, чтобы непременно повернул. Долог путь до Мемеля. В Мемеле возьмет еще одного курьера, передаст ему другую депешу, с тем же наказом — и отправляться новому курьеру по косе в Кёнигсберг, а ему, Волкову, — в Тильзит.

Не поспеть, не остановить праздников и машкерадов. Понимал о том Волков, но гнал лошадей, и опускалась его трость на спину возничего.

Как ни затягивал Волков кожаным фартуком передок возка, как ни подлезал под шубу, которую в последний момент при расставании набросила на него его Аня, как ни кутался он в плащ, а инфлюэнца его настигла, и в Мемеле пришлось Волкову задержаться на день.

Когда подъезжал Волков к дому обер-бургомистра Мемеля, кости его ломило, в голове гудел жар, а глаза застилала слезы.

Императорского гонца (не гонца — курьера с полномочиями!) градоначальник принял радушно, к столу пригласил. А после обеда Волков скинул сапоги, сел спиной к печи. Прижимался спиной к теплым изразцам. Изразцы впивались в спину, больно давили, но Волков прижимался еще сильнее: внешняя боль облегчала мучения.

Водка с толченым чесноком — рецепт лейб-медика Корфа! — подействовала мгновенно. Проснулся Волков на другой день на диване, укрытый шубой. А проснувшись, спохватился: надо ехать!

То ли водка бургомистрова оказалась слабоватой, то ли чесноку недостаточно натолкли, то ли плут Корф, лейб-медик, что-то в рецепте утаил, но в дороге Волкову опять стало худо. К переправе на Тильзит он добрался в скверном самочувствии и в дурном расположении духа.

Река уже замерзла, и по льду можно было перебраться быстро, но крут тильзитский берег, не взобраться лошадям по скользким уступам. Волков приказал взять левее, выше по течению и там перебраться. Перебравшись, поехали по пологому склону вверх, оставляя справа мрачный замок.

Волков, конечно, опоздал, и все празднества в городке уже прошли. Досадуя, что приказ не исполнен, и все еще чувствуя недомогание, Волков потребовал водки и бани. Водку ему подали. Но нет бани в прусском городке, где и сараи-то кирпичные — запрещено деревянные строения возводить: горят они зело, и города вмиг может не стать. Но что поделата, коли баню требуют? В один из самых маленьких — чтобы прогрелся быстрее — сараев нанесли валунов, ведро с раскаленными угольями, воды нагрели. Мыться было можно, но чтобы попариться, да так, чтобы мышцы от костей отходили, не получилось. Досада не исчезла.

Сидя в кабинете, Волков выяснял, как проходили праздники, кто пуше всех веселился. Хоть депеша и припоздала, а скорбь по государыне должно было иметь.

Кого-то надлежало наказать. Взгляд упал на исписанный лист бумаги. Среди немецких имен взгляд выхватил: Иван Коробкин — кто таков? Доложили: капельдинер, играл в квартете с немцами. Отлегло от сердца у Волкова:

— Коробкина на гауптвахту!

«Зело наказывать не станем, — думал. — Пяток ден посидит — и ладно. А он, Волков, донесет, что виновники наказаны. Музыканта потом выпустят, и все забудется». С тем и уехал. А Коробкин сидел.

Сидел Коробкин и вспоминал машкерад. Сначала музыку вспомнил — дивную вещицу сочинил Штольц. Свою игру вспомнил — изрядно играл. Штольц несколько раз оборачивался и подмигивал приветливо.

А потом увидел Коробкин: красное домино и черная маска. Персона кружила, переходила по зале, и все ближе к квартету, и все чаще чувствовал Коробкин на себе взгляд. Кюлоты и башмаки с пряжкой не смогли обмануть Коробкина: догадался он — то была дама. И взыграло в Коробкине сердце. Вот уж отыграл квартет, вот уж поклонились музыканты, скрипицы свои укладывать стали. Коробкину гобой в футляр уложить, тончайшим фетром покрыть и серебряные замочки на крышке защелкнуть — всего-то дела. А не получается: то гобой в пазы футляра не встанет, то фетр упадет. А Коробкин из-под плеча в зал глядел: домино в сторонке беседует с какой-то дамой. Поклонился Коробкин музыкантам, поклонился Штольцу, обнялся с ним, и — футляр с гобоем под мышку — уходить надо. Коробкин пошел, но не коротким путем, а — с почтением к публике — вдоль стенки и мимо красного домино. Подошел к персоне, замаялся, засеменял, призадержался. Персона обернулась, увидел Коробкин — не глаза даже, свет их — и обомлел. А домино — колокольчик звякнул, — хохотнув, в заднюю дверь юркнуло. Коробкин следом — но в комнате никого не оказалось.

А потом Коробкин стоял у крыльца, а мимо малец, пруссачок — рыженький, худощавый — пробегал. Пробегая, задержался перед Коробкиным, огляделся да за обшлаг ему бумажицу сунул. И был таков.

Коробкин хвататься за бумажицу не поспешил, но знал: записка там. А потом и прочитал: «Известное вам домино имеет ждать вас у известной вам кирхи». И время, когда ждать будет.

Вечер подходил медленно. Капельдинеру не терпелось встретиться с неизвестной персоной. Место выбрано хорошее: у кирхи в это время народу много — и подозрения не вызвать, и затеряться можно. Он обошел кирху справа, спрятался за выступ. Из-за тучи выплыла однобокая луна. Она была похожа на гнутый пятак. Коробкин ждал. Сначала ждал у кирхи, а теперь вот на гауптвахте.

О Коробкине вспомнили через неделю. И не выпустили. Что-то подсказывало: хоть можно не спешить исполнять прежние приказания, но и, рассудить если... Государыни Елизаветы Петровны, Царствие ей небесное, нет, новому монарху еще не присягали. А новый... он все по-новому начнет, это уж как водится. И где окажутся прежние распорядители, Бог ведает. Сейчас лучше, пригнувшись, переждать волну, а пережидая, и себя не забыть. Так что пусть посидит пока капельдинер. И оставался он ни арестант, ни свободный, а вроде бы — забытый.

Но Коробкин ждал.

## 9

А ведь умел ждать и поручик Поляков. Терпеливо ждать, понимая, что поспешность часто не только смешна, но и опасна. В бою, правда, он действовал иначе, по обстановке. А сейчас вот ждал. Но ни он сам, ни кто другой не объяснили бы, чего именно ждет поручик. Уже почти пять лет он в этом прусском городе Тильзите. В неясном он положении — ни пленный, ни свободный, ни офицер действующей армии, ни частное лицо. Да и армии, пожалуй, нет. Вести и слухи из России темны и противоречивы. За во-

семь месяцев — два переворота. Государь отрекся. Власть взяли непонятные большевики, столицу вернули в Первопрестольную. Газеты писали о мире, заключенном в Брест-Литовске.

Поручик Поляков в неопределенном положении. Он все так же отрезан рекой. Когда-то он думал: достаточно перебраться через нее, двинуться в сторону Ковно — и ты уже в Российской империи. А что теперь? Где империя? Границы изменились, да и есть ли они, границы? И не только границы — за годы войны многое изменилось вокруг, изменились и люди. Еще недавно — пяти лет не прошло — в Восточной Пруссии было много русских; на курортах, в поездах звучала русская речь. Но что случилось с людьми, если еще до начала активных военных действий около четырехсот русских привезли из Германии в Кёнигсберг и держали две недели как военнопленных? Да что там подданные Российской империи, когда издевательски отнеслись пруссаки к семье великого князя Константина Константиновича?!

Да если бы и не революция, если бы государь довел войну до победы, что ждало Полякова? Смог бы он вернуться домой? Еще в начале войны — знал, знал Поляков! — государь подписал указ, по которому все побывавшие в плену по окончании войны подлежали суду, а затем бессрочной высылке в Сибирь. А каково его матушке? Ее ведь лишили бы пенсий и субсидий.

Поляков шел, размышляя, и не сразу заметил двух пробежавших мимо подростков. А заметив, не придал значения тому, что один из них быстро забежал Полякову за спину, а другой, поравнявшись, замедлил бег.

В затылок больно ударил камень. Ударил с такой силой, что поручик чуть было не упал ничком. Сохраняя равновесие, он подался вперед и тут получил другой удар — тоже камнем, но в ногу, в большую ногу. Справившись с болью, Поляков обернулся. Мальчишки не убежали. Они стояли на своих местах и, не мигая, с ненавистью смотрели на Полякова.

Вечером Поляков, обычно не склонный к жалобам, все же рассказал доктору о происшедшем. Доктор сразу осмотрел и ногу, и затылок. Осматривая, качал головой и ворчал в усы: «Нехорошо. Нехорошо». Потом сел рядом с Поляковым, тронув его за руку, сказал:

— Война ужасна. Но вы не сердитесь сильно на этих мальчишек. Столько ненависти разлито вокруг, а они — самая чувствительная губка — все впитывают. Давайте-ка я еще раз осмотрю вас.

Не зря беспокоился доктор. Через два дня небольшая поначалу шишка на затылке раздулась в заметную опухоль. С течением времени опухоль увеличивалась, Полякова стала мучить головная боль.

В неясном положении поручик Поляков, а раненая нога и опухоль на затылке все чаще дают о себе знать. Доктор приходит через день, осматривает раны, качает головой и, бормоча (что бормочет — не разобрать), уходит. Нога горит. Когда поручик закрывает глаза, перед ним — красная пелена.

Красное домино, о котором прочитал Поляков в «Сирине» еще до войны, стало являться чаще. Оно выделось то петухом, летевающим к Петербургу, то персоной в кюлотах и с лицом троюродного брата Иоганна.

С Иоганном им пришлось встретиться еще раз. Иоганн был в темных очках, левая рука свисала плетью, а вместо кисти торчала какая-то окаменевшая черная перчатка.

— Я почти не снимаю очков, — сказал он. — Я был на Западном фронте. Я не успел защититься. Проклятые лягушатники!

— Газы? — осторожно спросил Поляков. — Но, Иоганн, это ведь не французы атаковали газами.

— И что с того?! Два месяца я провалялся в госпитале без левой руки и с повязкой на глазах. Глаза горели, будто в них насыпали раскаленных углей. Два месяца! Два ме-

сяца! Я не могу видеть солнечный свет, у нас и дома всегда задернуты гардины. А ты говоришь: при чем здесь французы?! У меня нет руки. К роялю я уже не подойду никогда. Моя милая Анхен! Она любила, когда я играл для нее. Она ангел. Она дождалась и приняла меня — калеку. У нас сын. Ему два года. Но я объясню ему все! Он поймет, что никто не смеет унижать Германию. Они, те, что сегодня лежат в люльках, сделают то, чего не удалось нам!

Иоганн горячился, на его лбу выступили капельки пота, слабозаметный тик перекошил рот.

— Одумайся, Иоганн! О чем ты говоришь?! — взволнованно заговорил Поляков. — Одумайся! Едва эта война окончена, а ты говоришь о новой!

— Ты читал газеты?! Что они сделали с Германией?! Что они сделали, эти Клемансо, Ллойд Джордж?! И итальяшки туда же! Предатели! Никто не смеет унижать Германию! Нам не надо больше видеться. Прощай.

Больше они не виделись. Иоганн появлялся теперь только в красном домино. Появлялся и стоял в дверях, не глядя на родственника. А Поляков не мог ни окликнуть его, ни подойти ближе. Он мог, преодолевая тяжесть и боль, подняться и встать с кровати, но в тот же момент красное домино превращалось в петушиный хвост, петух летал по комнате, красный свет разливался вокруг, и от него делалось жарко. Петух садился на перекрестие приоткрытой форточки и глядел одним глазом на Полякова. А тот знал: чтобы прогнать петуха, нужен снег, много снега. Снег погасит жар — и петуха не станет. Снег ложился на лоб холодной мокрой салфеткой или полотенцем.

Когда жар проходил, летящий петух становился похож на гимназического латиниста. Латинист в гимназии развлекал их палиндромами: «Sator Arepo tenet opera rotas». Этот палиндром запомнился лучше остальных, видел в нем Поляков какую-то загадку. Но и латинист уходил в окно — всякий раз в одну и ту же сторону.

Жар на некоторое время спал. Поляков привстал на кровати, дотянулся до этажерки, взял книгу, раскрыл наугад и стал читать:

«Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал...»

Поляков перевернул страницу и снова прочел наугад:

«Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить.

И когда Он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри.

И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч.

И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри.

Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей...

И когда Он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного: иди и смотри.

И вот я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть; и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертою частью земли — умерщвлять мечем и голодом, и мором и зверями земными.

И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели.

И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?

И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились на малое время...

И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса.

Но услышал голос с неба, говорящий мне: скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего».

Читать становилось тяжело, словно что-то давило на глаза, хотелось закрыть их. Он отложил книгу. Окно было раскрыто, и удивительная тишина разливалась за ним.

Тут неожиданно пришел доктор. Он был настроен решительно. Осмотрев затылок и ногу, заявил:

— Медлить больше нельзя!

## 10

«Медлить больше нельзя», — вывел своими бледными чернилами Евдокимов, и застопорилось перо. Исчезла картинка, которую он видел, как на экране. Последняя картинка, которую удалось ухватить Евдокимову, была — Марта и Поляков у окна. Больше он ничего не видел. И вдруг снова почувствовал легкое движение за спиной. Евдокимов обернулся — и вскрикнул от удивления:

— Поручик?! Как я рад вас видеть, Иван Николаевич. Вы давно не появлялись. Я много думал о вас. Нам нужно о многом поговорить.

Поляков помолчал, а потом произнес не совсем понятную фразу:

— Пришел, хотя в моем приходе не было никакой необходимости. И говорить нам не нужно. Вам это известно лучше, чем кому-либо.

— Но рассказ... Вы его дописали? Что случилось с Коробкиным? — взволнованно спросил Евдокимов.

Гость ничего не ответил, а только улыбнулся и посмотрел на стену с облупившейся штукатуркой.

— Мне пора, — сказал он и быстро исчез за дверью.

Закричал петух — в окно лился утренний свет. Петух кричал снова, потом еще раз. «Почему петух? Откуда петух в городской квартире?» — подумал Евдокимов. Но петух продолжал кукарекать и бить клювом и ногой по деревянному полу. Стук был громким.

С трудом отрывая голову от стола, Евдокимов догадался, что петухом кричит будильник в его телефоне, а стук доносится из-за входной двери. Еще плохо соображая, Евдокимов подошел к двери, отпер ее. В дверях стояли два полицейских и женщина в белом халате. За их спинами он разглядел соседку из квартиры под его мансардой. «Залил я ее, что ли?» — успел подумать Евдокимов. Между тем стоявший ближе к двери лейтенант спросил:

— Вы здесь живете?

— Да. Точнее, снимаю комнату.

— Вы нам не поможете? Не согласитесь быть понятым?

Еще не проснувшись окончательно, Евдокимов понял одно: гости не к нему — и поэтому кивнул. Потом, все яснее осознавая происходящее и пытаясь поймать взгляд соседки, он спросил:

— А что случилось?

Лейтенант спросил в свою очередь:

— Вы хорошо знали соседа из соседней квартиры?

— Не то чтобы очень хорошо. Знаете по принципу «привет — пока». Ну, денег иногда давал в долг. Возвращал сосед редко. Пьет он крепко. Да что случилось, в конце концов?!

— Сосед ваш найден сегодня мертвым. Пройдемте в его комнату.

В комнате было почти пусто, висел ввевшийся в стены запах табачного дыма. У стены на четырех кирпичиках покоился матрас от того, что когда-то было кроватью. На спинке единственного стула висел холщовый мешок, показавшийся Евдокимову знакомым. В мешке угадывались бутылки. Сосед сидел в старом ротанговом кресле-качалке — руки его свесились, голова запрокинулась.

Полицейские наскоро осмотрели место происшествия. Вместе с врачом «Скорой» (им-то и оказалась женщина в белом халате) составили протокол, дали подписать Евдокимову и соседке.

Евдокимов вернулся в свою каморку и сразу бросился к тайнику. В нем оказались две старые фотографии и исписанный по-немецки лист бумаги. Евдокимов сел к столу и стал переводить.

То был единственный случай, когда я решилась. Отец отъехал по делам в Кёнигсберг, не оставив Ивану никаких поручений. А он, не зная об отъезде отца, принес какие-то бумаги.

Сама не знаю почему, я пригласила его войти. На этот раз мы говорили и читали не очень много, но зато у нас была музыка. Он сел к моему старенькому роялю. Он играет совсем неплохо, даже хорошо, можно сказать, изобретательно. В одном месте нужно было пустить в ход педаль, я заметила, что из-за больной ноги ему трудно это сделать. Но он нашел другие краски, чтобы выделить это место. Если бы не эта ужасная война, Иван мог бы стать хорошим музыкантом. Так мы провели почти весь день.

До сих пор не могу объяснить себе, почему я так поступила. Я совсем не упрекаю его и нисколько не корю себя. Больше того: мне кажется, что я корила бы себя, когда бы отпустила его.

Как он был нежен и ласков. Он гладил мои волосы и шептал в самое ухо. Не знаю, о чем были его слова — он говорил по-русски, но — Бог мой! — как я была счастлива в ту минуту!

Когда все произошло, я встала, подошла к окну и долго смотрела на ночную улицу. Я смотрела на балконы в доме напротив, на их изящные кованые решетки, на затейливый узор. Как они красивы! Сколько раз я видела их, сколько раз взгляд мой скользил по этим решеткам, не замечая их красоты. Она открылась мне лишь в ту ночь.

Он неслышно подошел сзади и обнял меня. И тогда я сказала:

— Не знаю, как отец воспримет все это. Он очень хорошо относится к тебе, но принять, чтобы мы соединились, не согласится, не сможет. Он очень консервативный немец.

Но отцу не суждено было узнать ничего. Он умер внезапно, не успев даже провести обещанную Ивану операцию. Кроме него, лечить пленного русского никто не хотел.

А я же чувствую, что во мне бьется новая жизнь. Если родится сын, а я уверена, что будет мальчик, — что его ждет? Как страстно я хочу, чтобы на его долю не выпали те ужасы, которые переживаем мы.

На пожелтевшей фотографии угадывалось русское кладбище, где можно было разглядеть небольшое квадратной формы надгробие с еле различимой короткой надписью: «Iwan Poljakow». На обороте фотографии — аккуратная надпись: «1919». С другой фотографии улыбался молодой человек лет двадцати в немецкой военной форме. Дата была выбелена на самой фотографии — «1940».

Туман за ночь не рассеялся — сгустился еще больше. Евдокимов раскрыл торцевое окно и выглянул наружу. Где-то там за пропадающими в тумане домами протекал Неман, пограничная река. В тумане стирались краски, гасли звуки.

И сделалось безмолвие на небе.